Зигмунд Фрейд
Мы и смерть

Почтенные председательствующие и дорогие братья!

Прошу вас, не думайте, что я дал своему докладу столь зловещее название в приступе озорства. Я знаю, что многие люди ничего не желают слышать о смерти, быть может, есть такие и среди вас, и я ни в коем случае не хотел заманивать их на собрание, где им придется промучиться целый час. Кроме того, я мог бы изменить и вторую часть названия. Мой доклад мог бы называться не "Мы и смерть", а "Мы, евреи, и смерть", поскольку то отношение к смерти, о котором я хочу с вами поговорить, проявляем чаще всего и ярче всего именно мы, евреи.

Между тем вы легко вообразите, что привело меня к выбору этой темы. Это череда ужасных войн, свирепствующих в наше время и лишающих нас ориентации в жизни. Я подметил, как мне кажется, что среди воздействующих на нас и сбивающих нас с толку моментов первое место занимает изменение нашего отношения к смерти.

Каково ныне наше отношение к смерти? По-моему, оно достойно удивления. В целом мы ведем себя так, как если бы хотели элиминировать смерть из жизни; мы, так сказать, пытаемся хранить на её счет гробовое молчание; мы думаем о ней - как о смерти!

Разумеется, мы не можем следовать этой тенденции беспрепятственно. Ведь смерть то и дело напоминает о себе. И тут мы испытываем глубокое потрясение, словно нечто необычайное внезапно опрокинуло нашу безопасность. Мы говорим: "Ужасно!!" - когда разбивается отважный летчик или альпинист, когда во время пожара на фабрике гибнут двадцать молоденьких работниц или даже когда идет ко дну корабль с несколькими сотнями пассажиров на борту. Особенное впечатление производит на нас смерть кого-нибудь из наших знакомых; если умирает известный нам Н. или его брат, мы даже участвуем в похоронах. Но никто бы не мог заключить, исходя из нашего поведения, что мы признаем смерть неизбежной и твердо убеждены в том, что каждый из нас обречен природой на смерть. Наоборот, всякий раз мы находим объяснение, сводящее эту неизбежность к случайности. Один умер, потому что заболел инфекционным воспалением легких - никакой неизбежности в этом не было; другой уже давно тяжело болел, только не знал об этом; третий же был очень стар и дряхл. Когда речь заходит о ком-нибудь из нас, евреев, можно подумать, будто ни один еврей вообще никогда не умирал от естественных причин. На худой конец, его залечил доктор, иначе он жил бы и поныне. Мы, правда, допускаем, что рано или поздно всем придется умереть, но это "рано или поздно" мы умеем отодвигать в необозримую даль. Когда у еврея спрашивают, сколько ему лет, он бодро отвечает: "До ста двадцати осталось лет этак шестьдесят!"

Психоаналитическая школа, которую я, как вам известно, представляю, смеет утверждать, что мы - каждый из нас - в глубине души не верим в собственную смерть. Мы просто не в силах её себе представить. При всех попытках вообразить, как все будет после нашей смерти, кто будет нас оплакивать и т.д., мы можем заметить, что сами, собственно говоря, продолжаем присутствовать при этом в качестве наблюдателей. И впрямь, трудно отдельному человеку проникнуться убеждением в собственной смертности. Когда он получает возможность проделать решающий опыт, он уже недоступен любым доводам.

Только черствый или злой человек рассчитывает на смерть другого или думает о ней. Мягкие, добрые люди, такие, как мы с вами, сопротивляются подобным мыслям, особенно если смерть другого человека может принести нам выгоду - свободу, положение, обеспеченность. А если все-таки случилось так, что этот другой умер, мы восхищаемся им чуть ли не как героем, совершившим нечто из ряда вон выходящее. Если мы враждовали, то теперь мы с ним примиряемся, перестаем его критиковать. О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить, и мы с удовольствием допускаем, чтобы на его надгробии начертали малодостоверную хвалебную эпитафию. Но когда смерть настигает дорогого нам

человека - кого-нибудь из родителей, мужа или жену, брата, сестру, ребенка, друга - мы оказываемся совершенно беззащитны. Мы хороним с ним наши надежды, притязания, радости, отвергаем утешения и не желаем замены утраченному. Мы ведем себя как люди из рода Азра, умирающие вместе с любимыми.

Однако подобное отношение к смерти накладывает глубокий отпечаток на нашу жизнь. Она обедняется, тускнеет. Наши эмоциональные связи, невыносимая интенсивность нашей скорби делают из нас трусов, склонных избегать опасности, грозящей нам или нашим близким. Мы не осмеливаемся затевать некоторые, в сущности, необходимые предприятия, такие, как воздушные полеты, экспедиции в дальние страны, опыты со взрывчатыми веществами. Нас при этом гнетет мысль о том, кто заменит матери сына, жене мужа, детям отца, если произойдет несчастный случай, - а между тем все эти предприятия необходимы. Вы знаете девиз Ганзы: "Navigare necesse est, vivere non necesse" ("Плавать мы обязаны, жить не обязаны"). Сравните его с еврейским анекдотом: мальчик упал со стремянки, и мать бежит за советом и помощью к раввину. "Объясните мне, - спрашивает раввин, - как еврейский мальчик попал на стремянку?"

Я говорю, что жизнь теряет содержательность и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь. Она становится пустой и пресной, как американский флирт, при котором заранее известно, что ничего не должно случиться, в отличие от любовных отношений в Европе, при которых обоим партнерам приходится помнить о постоянно подстерегающей их опасности. Нам необходимо чем-то вознаградить себя за это оскудение жизни, и вот мы обращаемся к миру воображаемого, к литературе, театру. На сцене мы находим людей, которые ещё умеют умирать, да к тому же умереть могут только другие. Здесь мы удовлетворяем свое желание видеть саму жизнь, ставшую значительной ставкой в жизни, причем не для нас, а для другого. Собственно, мы бы ничуть не возражали против смерти, если бы она не полагала конец жизни, которая дается нам только один раз. Все-таки слишком это жестоко, что в жизни с нами может случиться то же, что в шахматной партии: один-единственный неверный ход может вынудить нас к признанию своего проигрыша, с тем, однако, отличием, что отыграться в следующей партии нам не удастся. В области вымысла мы находим то разнообразие жизней, в котором испытываем потребность. Мы умираем с одним из героев, но все-таки переживаем его, а при случае умираем ещё раз с другим героем без малейшего для себя ущерба.

Что же меняет ныне война в этом нашем отношении к смерти? Очень многое. Наш договор со смертью, как я бы его назвал, перестает соблюдаться так, как прежде. Мы уже не можем упускать смерть из виду, нам приходится в неё поверить. Теперь люди умирают по-настоящему, и не единицы, а во множестве, подчас десятки тысяч в день. К тому же теперь это уже не случайность. Правда, может показаться, будто пуля случайно поражает одного и минует другого, но нагромождение смертей быстро кладет конец этому ощущению случайности. Зато жизнь, разумеется, снова становится интереснее, к ней возвращается полностью все её содержание.

Здесь следовало бы разделить людей на две категории: тех, что сами участвуют в войне и рискуют собственными жизнями, следует отличать от других, которые остались дома и которым приходится только опасаться утраты близких, рискующих умереть от раны или болезни. Крайне интересно было бы, если бы мы обладали возможностью исследовать, какие душевные изменения влечет за собой у воюющих готовность к самопожертвованию. Но я об этом ничего не знаю; я, как и вы все, принадлежу ко второй группе, к тем, которые остались дома и дрожат за дорогих им людей. По моему впечатлению, та апатия, тот паралич воли, что присущ мне так же, как другим людям, находящимся в том же положении, что я, определяются в большей степени тем обстоятельством, что мы более не в силах поддерживать прежнее отношение к смерти, а нового взгляда на неё ещё не нашли. Быть может, нашей с вами переориентации будет способствовать попытка сопоставить два разных отношения к смерти - то, которое мы вправе приписать древнему человеку, человеку первобытных времен, и другое, то, что сохраняется в каждом из нас, но незаметно для

нашего сознания таится в глубочайших пластах нашей душевной жизни.

До сих пор я не сказал вам, дорогие братья, ничего такого, чего бы вы не могли знать и чувствовать так же хорошо, как я. А теперь мне выпадает возможность сказать вам нечто, о чем вы, быть может, не знаете, а также нечто другое, что наверняка вызовет у вас недоверие. Мне придется с этим смириться.

Итак, каким же образом относился к смерти первобытный человек? Его отношение к смерти было весьма примечательно и лишено какой бы то ни было цельности, но скорее даже противоречиво. Однако впоследствии мы поймем причину этой противоречивости. Человек, с одной стороны, принимал смерть всерьез, признавал её уничтожением жизни и в этом смысле пользовался ею, но, с другой стороны, отвергал её, начисто её отрицал. Почему это возможно? Потому, что к смерти другого, чужака, врага он относился в корне иначе, чем к собственной смерти. Смерть другого не вызывала у него возражений, он воспринимал её как уничтожение и жаждал её достичь. Первобытный человек был страстным существом, свирепым и коварным, как звери. Никакой инстинкт, имеющийся, по общему мнению, у большинства диких зверей, не препятствовал ему убивать и разрывать на куски существо своей же породы. Он убивал охотно и не ведая сомнений.

Древняя история человечества также полна убийств. И сегодня древняя история в том виде, как её изучают наши дети в школе, представляет собой, в сущности, череду геноцидов. Смутное ощущение вины, изначально присущее человечеству, во многих религиях воплотившееся в признание исконной виновности, первородного греха, представляет собой, по всей видимости, память о преступлении, за которое несут ответственность первобытные люди. Из христианского вероучения мы ещё можем вынести догадку о том, в чем состояло это преступление. Если сын Божий принес свою жизнь в жертву, чтобы искупить первородный грех человечества, то, согласно закону талиона, предписывающему воздаяние мерой за меру, этим грехом было убийство, умерщвление. Только оно могло потребовать в качестве возмездия такой жертвы, как жизнь. А поскольку первородный грех был виной перед Богом-отцом, значит, наидревнейшим преступлением человечества было, по всей видимости, умерщвление прародителя кочующим племенем первобытных людей, в памяти которых образ убитого позже преобразился в божество. В своей книге "Тотем и табу" (1913) я постарался собрать аргументы в пользу такого понимания изначальной вины.

Впрочем, разрешите мне заметить, что учение о первородном грехе не изобретено христианством, а представляет собой часть древнейших верований, которая долгое время сохранялась в подземных течениях разных религий. Иудаизм тщательно отодвинул в сторону эти смутные воспоминания человечества, и, быть может, именно поэтому он лишился права быть мировой религией.

Давайте же вернемся к первобытному человеку с его отношением к смерти. Мы слышали, как он относился к смерти чужака. Его собственная смерть была для него точно так же невообразима и неправдоподобна, как ныне для любого из нас. Однако для него был возможен случай, когда оба противоположных представления о смерти смыкались и вступали между собой в конфликт, и этот случай имел огромное значение и был чреват далеко идущими последствиями. Речь идет о случае, когда первобытный человек видел, как умирает кто-то из его близких - жена, ребенок, друг - которых он любил совсем так же, как мы любим своих близких, потому что любовь - чувство ничуть не менее древнее, чем кровожадность. Так он убеждался на опыте, что человек может умереть, потому что каждый из тех, кого он любил, был частицей его "Я", но, с другой стороны, в каждом из этих любимых была и частица ему чуждая. Согласно законам психологии, которые верны и поныне, а в первобытные времена власть их распространялась ещё шире, чем теперь, эти любимые оказывались одновременно также и чужаками, врагами, вызывавшими также и враждебные чувства.

Философы утверждают, что интеллектуальная загадка, которую картина смерти загадывала первобытному человеку, понуждала его к размышлению и становилась отправной точкой любого его умозрительного рассуждения. Я бы хотел поправить и

ограничить этот постулат. Не интеллектуальная загадка и не каждый случай смерти, но конфликт чувств в виде смерти любимого и при этом все же чужого и ненавистного человека раскрепостил человеческую пытливость. Много позже из этого конфликта чувств родилась психология. Первобытный человек уже не мог оспаривать смерть, в своем горе он отчасти узнал на собственном опыте, что это такое, но вместе с тем он не хотел её признавать, потому что не мог вообразить умершим самого себя. Тогда он пошел на компромисс: он допускал смерть, но отрицал, что она есть то самое уничтожение жизни, которого он мысленно желал своим врагам. Над телом любимого существа он выдумывал духов, воображал разложение индивидуума на плоть и душу - первоначально не одну, а несколько. Вспоминая об умерших, он создавал себе представление об иных формах существования, для которых смерть - это лишь начало, он создавал себе понятие загробной жизни после мнимой смерти. Это дальнейшее существование было поначалу лишь расплывчатой, бессодержательной и пренебрегаемой добавкой к тому, которое завершалось смертью, оно ещё носило черты убогости. Позвольте мне привести вам слова, в которых наш великий поэт Генрих Гейне - впрочем, в полном соответствии со стариком Гомером - заставляет мертвого Ахилла выразить свое пренебрежительное отношение к существованию мертвых.

Любой ничтожнейший мещанин, Живущий среди родных равнин, - И тот блаженней стократ, Чем я, усопший герой великий, Что в царстве мертвых зовусь владыкой.

И только позже религии удалось придать этому посмертному существованию достоинство и полноценность, а жизнь, завершаемую смертью, низвести всего-навсего до подготовки к нему. Затем, со всей последовательностью, жизнь была продолжена и в сторону прошлого: были придуманы предыдущие существования, второе рождение и переселение душ, и все это преследовало цель лишить смерть её значения, состоявшего в отмене жизни. Весьма примечательно, что наше Священное писание не приняло в расчет этой потребности человека в гарантии его предсуществования. Напротив, там сказано, что Бога славит только живой. Я предполагаю - а вы безусловно знаете об этом больше, чем я, - что иудейская религия и литература, базирующаяся на Ветхом завете, по-другому относилась к учению о бессмертии. Но я бы хотел отметить и этот пункт в ряду прочих, воспрепятствовавших иудаизму заменить другие древние религии после их упадка.

У тела умершего любимого человека зародились не только представления о душе и вера в бессмертие, но и осознание вины, страх перед смертью и первые этические требования. Осознание вины произошло из двойственного чувства по отношению к покойнику, страх смерти - из идентификации с ним. Такая идентификация с точки зрения логики кажется непоследовательностью, поскольку ведь неверие в собственную смерть не было устранено. В разрешении этого противоречия мы, современные люди, также не продвинулись дальше. Древнейшее требование этики, возникшее тогда, но важное и теперь, гласило: "Не убивай". Первоначально оно касалось любимого человека, но постепенно распространилось на нелюбимых, чужих, а в конце концов и на врага.

Теперь я хотел бы поведать вам об одном странном факте. В некотором смысле первобытный человек сохранился доныне и предстает нам в облике примитивного дикаря, который недалеко ушел от первобытных людей. Теперь вам естественно будет предположить, что этот дикий австралиец, житель Огненной Земли, бушмен и т.д., убивает без всякого раскаяния. Но вы заблуждаетесь, дикарь в этом отношении чувствительней цивилизованного человека, во всяком случае до тех пор, пока его не коснется влияние цивилизации. После успешного завершения свирепствующей ныне мировой войны победоносные немецкие солдаты поспешат домой, к женам и детям, и их не будет удерживать и тревожить мысль о врагах, которых они убили в рукопашном бою или дальнобойным оружием. Но дикарь-победитель, возвращающийся домой с тропы войны, не может вступить в свое селение и увидеть жену, пока не искупит совершенных им на войне убийств покаянием, подчас долгим и трудным. Вы скажете: "Да, дикарь ещё суеверен, он боится мести со стороны духов убитых". Но духи убитых врагов есть не что иное, как выражение его нечистой совести по причине содеянного им кровопролития.

Позвольте мне ещё немного задержаться на этом древнейшем требовании этики: "Не убивай". Его древность и категоричность позволяют нам прийти к одному важному выводу. Было выдвинуто утверждение, что инстинктивное отвращение перед пролитием крови коренится глубоко в нашей натуре. Набожные души охотно этому верят. Теперь мы с легкостью можем проверить это утверждение. Ведь мы располагаем прекрасными примерами такого инстинктивного, врожденного отвращения.

Давайте вообразим, что мы с вами находимся на юге на прекрасном курорте. Там разбит виноградник с отменным виноградом. В этом винограднике попадаются также и змеи, толстые черные змеи, в сущности, вполне безобидные создания, их ещё называют змеями Эскулапа. В винограднике развешаны таблички. Мы читаем одну из них - на ней написано: "Отдыхающим строго запрещается брать в рот голову или хвост змеи Эскулапа". Не правда ли, вы скажете: "В высшей степени бессмысленный и излишний запрет. И без него такое никому в голову не придет". Вы правы. Но мы читаем ещё одну такую табличку, предупреждающую, что срывать виноград запрещается. Этот запрет скорее покажется нам оправданным. Нет уж, давайте не будем заблуждаться. У нас нет никакого инстинктивного отвращения перед пролитием крови. Мы потомки бесконечно длинной череды поколений убийц. Страсть к убийству у нас в крови, и, вероятно, скоро мы отыщем её не только там.

Оставим теперь первобытного человека и обратимся к нашей собственной душевной жизни. Как вы, вероятно, знаете, мы владеем определенным методом исследования, с помощью которого мы можем обнаружить, что происходит в глубинных пластах души, скрытых от сознания, - это своего рода глубинная психология. Итак, мы спрашиваем: "Как относится к проблеме смерти наше бессознательное?" И тут выясняется такое, чему вы не поверите, хотя для вас это также не является новостью, поскольку недавно я вам это уже описывал. Наше бессознательное относится к смерти в точности так же, как относился к ней первобытный человек. В этом плане, как и во многих других, в нас по-прежнему жив первобытный человек в его неизменном виде. Итак, бессознательное в нас не верит в собственную смерть. Оно вынуждено вести себя так, будто мы бессмертны. Быть может, именно в этом кроется тайна героизма. Правда, рациональным обоснованием героизма является мнение, что собственная жизнь может быть не так дорога человеку, как некоторые другие всеобщие и абстрактные ценности. Но, по-моему, чаще мы встречаемся с импульсивным или инстинктивным героизмом, который проявляет себя таким образом, словно черпает уверенность в известном кличе саперов: "Ничего с тобой не случится!" - и заключается, по сути, в том, чтобы сохранить веру бессознательного в бессмертие. Страх смерти, которым мы страдаем чаще, чем нам кажется, являет собой нелогичное противоречие этой уверенности. Впрочем, чаще он имеет не столь древний источник и происходит по большей части от чувства вины.

С другой стороны, мы признаем смерть чужаков и врагов и прочим им смерть, подобно первобытному человеку. Разница лишь в том, что мы не в самом деле насылаем на них смерть, а только думаем об этом и желаем этого. Но когда вы согласитесь с существованием этой так называемой психической реальности, вы сможете сказать: "В нашем бессознательном все мы и поныне банда убийц. В тайных наших мыслях мы устраняем всех, кто стоит у нас на пути, всех, кто нас огорчает или обижает. Пожелание "Черт бы его побрал!", которое, являясь безобиднейшим междометием, так часто вертится у нас на языке, в сущности, означает: "Смерть бы его побрала!" - и наше бессознательное вкладывает в него мощный и серьезный смысл. Наше бессознательное карает смертью даже за пустяки; как древнее афинское законодательство Дракона, оно признает смерть как единственную меру наказания преступника, из чего следует определенный вывод: каждый ущерб нашему всемогущему и самовластному "Я" является, в сущности, crimen laesae majestatis. Хорошо еще, что все эти свирепые желания не наделены никакой силой. Иначе род людской уже давно бы прекратился, и не уцелел бы никто ни самые лучшие и мудрые из мужчин, ни самые прекрасные и очаровательные из женщин. Нет, не будем заблуждаться на этот счет, мы по-прежнему те же убийцы, какими были наши предки в первобытные времена.

Я могу рассказать вам об этом совершенно спокойно, потому что знаю, что вы мне все равно не поверите. Вы больше доверяете своему сознанию, отвергающему подобные предположения как клевету. Но я не могу удержаться и не напомнить вам о поэтах и мыслителях, которые понятия не имели о психоанализе, а между тем утверждали нечто подобное. Вот только один пример! Ж.Ж. Руссо в одной из своих книг обрывает рассуждения, чтобы обратиться к читателю с необычным вопросом: "Представьте себе, - говорит он, - что в Пекине находится некий мандарин (а Пекин был тогда ещё дальше от Парижа, чем теперь), чья кончина могла бы доставить вам большую выгоду, и вы можете его убить, не покидая Парижа, и, разумеется, так, что никто не узнает о вашем поступке, простым усилием воли. Уверены ли вы, что не сделаете этого?" Что ж, я не сомневаюсь, что среди собравшихся здесь почтенных братьев многие с полным основанием могут утверждать, что они бы этого не сделали. Но, в общем, не хотел бы я быть на месте того мандарина и думаю, что ни одна страховая компания не заключила бы с ним договор о страховании жизни.

Ту же неприятную истину я могу высказать вам в другой форме, так что она даже доставит вам удовольствие. Я знаю, все вы любите слушать шутки и остроты, и надеюсь, вас не слишком заботит вопрос, на чем основано удовольствие, получаемое нами от таких шуток. Есть категории шуток, называемых циничными, причем они относятся далеко не к самым худшим и не к самым плоским. Открою вам, что тайну таких шуток составляет искусство так подать скрытую или отрицаемую истину, которая сама по себе звучала бы оскорбительно, чтобы она могла даже порадовать нас. Такие формальные приемы понуждают вас к смеху, ваше заранее заготовленное мнение оказывается обезоружено, а потому истина, которой вы в ином случае оказали бы отпор, украдкой проникает в вас. Например, вам знакома история про человека, к которому в присутствии компании знакомых вручили траурное извещение, а он, не читая, сунул листок в карман. "Разве вы не хотите знать, кто умер?" спрашивают у него. "Ах, какая разница, - гласит ответ, - в любом случае у меня нет возражений". Или другая, про мужа, который, обращаясь к жене, говорит: "Если один из нас умрет, я перееду в Париж". Это циничные шутки, и они бы не были возможны, если бы в них не сообщалась отрицаемая истина. Как известно, в шутку можно даже говорить правду.

Дорогие братья! Вот ещё одно полное совпадение между первобытным человеком и нашим бессознательным. И тут, и там возможен такой случай, когда оба устремления, одно - признать смерть уничтожением, а другое отрицать её существование, сталкиваются и вступают в конфликт. И случай этот для нашего бессознательного тот же, что и у первобытного человека: смерть или смертельная опасность, грозящая любимому человеку - кому-нибудь из родителей, супругу, брату или сестре, детям или близким друзьям. Эти любимые люди, с одной стороны, внутренне принадлежат нам, входят в состав нашего "Я", но, с другой стороны, они отчасти и чужие нам, то есть враги. Самым сердечным, самым задушевным нашим отношениям, за исключением очень немногих ситуаций, всегда присуща крошечная доля враждебности, дающая толчок бессознательному пожеланию смерти. Но из конфликта обоих стремлений уже рождается не понятие о душе и не этика, а невроз, который позволяет нам глубже познакомиться и с нормальной душевной жизнью. Изобилие преувеличенно нежной заботы между членами семьи покойного и совершенно беспочвенные упреки, которыми они сами себя осыпают, открывают нам глаза на распространенность и важность этого глубоко запрятанного пожелания смерти. Не хочу далее рисовать вам эту оборотную сторону картины. Скорее всего, вы бы ужаснулись, и ужаснулись не напрасно. Природа и здесь устроила все тоньше, чем это сделали бы мы. Нам бы наверняка в голову не пришло, что такое соединение любви с ненавистью может послужить к нашей же пользе. Однако пока природа работает с таким противоречием, она заставляет нас все время будоражить нашу любовь и подновлять её, чтобы защитить её от таящейся за нею ненависти. Можно сказать, что прекраснейшие проявления любви существуют благодаря реакции против жала страсти к убийству, которое мы ощущаем у себя в груди.

Подведем итог: наше бессознательное так же недоступно для представления о собственной смерти, так же кровожадно по отношению к чужим, так же двойственно (амбивалентно) по отношению к любимым людям, как первобытный человек. Но как же далеко ушли мы с нашей культурной точкой зрения на смерть от первобытного состояния!

А теперь давайте мы с вами ещё раз посмотрим, что делает с нами война. Она смывает с нас позднейшие культурные наслоения и вновь выпускает на свет живущего в нас первобытного человека. Она снова заставляет нас быть героями, не желающими верить в собственную смерть, она указывает нам, что чужаки - наши враги, чьей смерти надо добиваться или желать, она советует нам переступать через смерть тех, кого мы любим. Таким образом, она колеблет наши культурные договоры со смертью. Однако войну упразднить невозможно. Покуда не исчезнут столь огромные различия в условиях существования разных народов и не прекратится столь сильное отталкивание между ними, до тех пор будут и войны. Но возникает вопрос: не следует ли нам уступить и поддаться им? Не следует ли нам признать, что мы с нашим культурным отношением к смерти психологически жили выше, чем нам положено, и должны поскорее повернуть обратно, смириться с истиной? Не лучше ли было бы вернуть смерти в действительности и в наших мыслях то место, которое ей принадлежит, и понемногу извлечь на свет наше бессознательное отношение к смерти, которое до сих пор мы так тщательно подавляли? Я не могу призывать вас к этому как к высшей цели, поскольку прежде всего это было бы шагом назад, регрессией. Но наверняка она способствовала бы тому, чтобы сделать для нас жизнь более сносной, а ведь нести бремя жизни - долг всех живущих. В школе мы слышали политическое изречение древних римлян, гласившее "Si vis pacem, para bellum". Хочешь мира - готовься к войне. Мы можем изменить его сообразно нашим нынешним потребностям: "Si vis vitam, para morten". Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти.